

Маленький Жорж ползал на четвереньках по дорожке, сгребая песок в кучки. Он собирал его пригоршнями, насыпал пирамиды, а затем сажал на верхушку листок каштана.

Сидевший на садовом стуле отец не спускал с него внимательного, любовного взгляда и никого больше не видел в небольшом сквере, полном народа.

По всей круговой дорожке, которая проходит перед бассейном и церковью св. Троицы и огибает газон, как щенята, резвились ребятишки; равнодушные няньки тупо глядели в пространство, а матери разговаривали между собой, неусыпным оком следя за малышами.

Степенно прохаживались парами кормилицы, распустив по спине длинные разноцветные ленты своих чепцов, неся на руках что-то белое, утопающее в кружевах; девочки с голыми икрами, в коротких платьицах вели серьезные разговоры, а потом снова принимались катать обруч; сторож в зеленом мундире расхаживал среди детворы, непрестанно обходя песочные постройки, боясь наступить на ручки, разрушить муравьиную работу этих крошечных человекоподобных личинок.

Солнце садилось за крышами улицы Сен-Лазар и бросало длинные косые лучи на эту нарядную шаловливую толпу. Каштановые деревья вспыхивали желтыми отблесками, и три фонтана перед высоким церковным порталом, казалось, струили расплавленное серебро.

Г-н Паран смотрел на Жоржа, сидевшего на корточках в песке; он с любовью следил за каждым его жестом, мысленно сопровождал поцелуем малейшее движение сына.

Но, подняв глаза к часам на колокольне, он увидел, что запаздывает на пять минут. Он встал, поднял ребенка, отряхнул пыль с костюмчика, обтер ему руки и повел к улице Бланш. Он торопился, чтобы попасть домой раньше жены; мальчик, не поспевая за ним, бежал вприпрыжку.

Тогда отец взял его на руки и, еще ускорив шаг, тяжело дыша от напряжения, стал подниматься по идущему в гору тротуару. Это был человек лет сорока; он уже поседел, начинал полнеть и с виноватым видом носил свое сытое брюшко, брюшко благодушного человека, которого жизнь сделала робким.

Несколько лет тому назад он женился на нежно любимой девушке, а теперь она обходилась с ним резко и свысока, как самовластный тиран. Она придиралась к нему непрестанно и за то, что он делал, и за то, чего не делал, язвительно допекала за каждый шаг, за все его привычки, за самые скромные удовольствия, за вкусы, манеры, жесты, за полноту его фигуры и невозмутимый тон голоса.

И все же он еще любил ее, но гораздо больше любил ребенка от нее, трехлетнего Жоржа, который был главной заботой и радостью его души. Он жил, нигде не служа, на проценты со скромного капитала, дававшего ему двадцать тысяч франков годового дохода; жена, за которой он не взял приданого, постоянно возмущалась его бездельем.

Наконец он дошел до дому, поставил ребенка на нижнюю ступеньку, вытер пот со лба и стал подниматься по лестнице.

На третьем этаже он позвонил.

Дверь открыла старая нянька, выросшая еще его самого, одна из тех старых служанок, которые становятся деспотами в семье. Он с тревогой спросил:

— Барыня дома?

Служанка пожала плечами.

— Да где ж это видано, чтобы наша барыня была дома в половине седьмого?

Он ответил смущенным тоном:

— Ладно, тем лучше, по крайней мере, успею переодеться: мне очень жарко.

Нянька посмотрела на него с возмущением и презрительной жалостью.

— Вы, барин, я вижу, вспотели; торопились, несли, верно, мальчика, а теперь изволь дожидаться барыню до половины восьмого. Нет, я ученая стала, не спешу управиться вовремя. Обед будет к восьми; ничего не поделаешь, придется подождать. Нельзя, чтобы пережарилось жаркое.

Г-н Паран сделал вид, что не слышит. Он пробормотал:

— Ладно, ладно. Надо вымыть Жоржу руки, он делал пирожки из песка, а я пойду переоденусь. Скажи горничной, чтобы как следует почистила мальчика.

И он прошел к себе в спальню. Там он сразу заперся на задвижку, чтобы остаться одному, совсем одному, совершенно одному. Он уже так привык к дурному обращению, к попрекам, что чувствовал себя в безопасности, только закрыв двери. Он даже не смел думать, размышлять, рассуждать сам с собой, если не был уверен, что от взглядов и придинок его не охраняет замок. Присев на стул, чтобы немножко передохнуть перед тем, как надеть чистую рубашку, он подумал, что Жюли становится настоящей грозой в доме. Она ненавидела его жену, это было очевидно, но в особенности ненавидела его товарища, Поля Лимузена, закадычного его приятеля в годы холостой жизни, а теперь оставшегося близким другом и своим человеком в семье, что случается довольно редко. Как раз Лимузен

служил буфером в его спорах и в слухах друга, даже очень горячо, очень смело от незаслуженных упреков, от злобных нападок, от всех невзгод его каждодневного существования.

Но вот уже с полгода, как Жюли позволяла себе недоброжелательные замечания и колкие намеки по адресу хозяйки. Она постоянно осуждала ее и заявляла двадцать раз на день: «Будь я, барин, на вашем месте, не позволила бы я, чтобы меня так водили за нос. Но в конце концов, что же... каждый живет по-своему».

Раз даже она надерзила Анриетте. Та смолчала и только вечером сказала мужу: «Имей в виду, при первой грубости я сама выставлю ее за дверь». Однако казалось, она опасается служанки, хотя обычно не боялась никого, и Паран приписывал ее сдержанность уважению к женщине, которая его вынянчила, которая закрыла глаза его матери.

Но пора было положить этому конец, так дальше продолжаться не могло, и он приходил в ужас при мысли о том, что неминуемо должно было случиться. Как ему поступить? Рассчитать Жюли — этот исход казался настолько нежелательным, что он и думать о нем не хотел. Встать на ее сторону против жены также было невозможно; однако самое большее через месяц отношения между ними обеими станут нестерпимыми.

Он сидел, опустив руки, вяло подыскивая способ все уладить, и ничего не мог придумать. Наконец он прошептал: «Какое счастье, что у меня есть Жорж... Без него я совсем бы пропал».

Затем он подумал, что надо посоветоваться с Лимузеном, и совсем было на этом успокоился, но, тут же вспомнив о неприязни, зародившейся между старой нянькой и его другом, испугался, как бы тот не посоветовал прогнать ее; и опять им овладели сомнения и тревога.

Пробило семь, он вздрогнул. Семь, а он еще не готов. И вот, торопясь, отдуваясь, он разделся, вымылся, натянул чистую рубашку и поспешно оделся, словно в соседней комнате его ждало событие чрезвычайной важности.

Он вышел в гостиную, радуясь, что больше ему опасаться нечего.

Мельком заглянув в газету, он подошел к окну, посмотрел на улицу и опять сел на диван; открылась дверь, и вбежал его сын, умытый, причесанный, веселый. Паран схватил ребенка на руки и принялся страстно целовать. Сперва он поцеловал его в волосы, потом в глаза, потом в обе щеки, потом в губы, потом в ладошки, потом, вытянув руки, стал подбрасывать до потолка. Наконец сел, усталый от такого напряжения, и, посадив Жоржа верхом на колени, начал его «катать на лошадке».

Мальчик в восторге смеялся, размахивал ручонками, радостно вскрикивал, и отец тоже смеялся и вскрикивал от удовольствия, так что трясся его толстый живот; он забавлялся больше сына.

Он любил его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Он любил его с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни, ибо жена всегда была с ним суха и сдержанна.

Тут в дверях появилась Жюли, бледная, с горящими глазами, и заявила дрожащим от раздражения голосом:

— Половина восьмого, барин.

Паран бросил на часы беспокойный, виноватый взгляд и пробормотал:

— Правда, половина восьмого.

— Вот теперь у меня обед готов.

Предвидя бурю, он попытался ее предотвратить:

— А ведь когда я пришел, ты, кажется, говорила, будто раньше восьми не управисься?

— Раньше восьми!.. Да что вы, в самом деле! Не морить же ребенка голодом до восьми часов! Мало ли что сказала, всякое говорится. Только Жоржу голодать до восьми вредно. Счастье, что за ребенком не только мать смотрит. Она-то не очень о нем заботится. Да, уж нечего сказать, хороша мать! Глаза бы мои на нее не глядели!

Паран, дрожа от страха, почувствовал, что надо сразу пресечь опасную сцену.

— Жюли, — сказал он, — запрещаю тебе так говорить о хозяйке! Надеюсь, ты поняла? Не забывай этого впредь.

Старая нянька, чуть не задохнувшись от изумления, повернулась и вышла, так сильно хлопнув дверью, что на люстре зазвенели все подвески. В течение нескольких секунд в безмолвной гостиной как бы стоял легкий, неуловимый перезвон невидимых колокольчиков.

Жорж сначала испугался, потом радостно захлопал в ладоши и, надув щеки, изо всех сил крикнул: «Бух!», — подражая стуку двери.

Тогда отец стал рассказывать ему сказки, но то и дело терял нить повествования, потому что был удручен своими мыслями, и мальчик не понимал и удивленно таращил глазенки.

Паран не спускал взгляда с часов. Ему казалось, что он видит, как двигается стрелка. Ему хотелось остановить время, задержать его бег до прихода жены. Он не сердился на Анриетту за опоздание. Но он боялся, боялся ее и Жюли, боялся всего, что могло случиться. Еще десять минут — и грозит произойти непоправимое несчастье, бурная сцена с такими объяснениями, о которых ему даже думать было

страшно. При одной мысли о ссоре, громких криках, обидных словах, будто пули, прорезающих воздух, об этих двух женщинах, стоящих лицом к лицу, впивающихся друг в друга взглядом, бросающих оскорбления, у него замирало сердце, во рту пересохло, как при ходьбе на жгучем солнце. Он весь обмяк, словно тряпка, до того обмяк, что не имел больше сил приподнять сынишку и покачать его на ноге.

Пробило восемь; дверь открылась снова, и снова вошла Жюли. Теперь у нее вид был уже не раздраженный, а решительный и злой, что внушало еще большие опасения.

— Барин, — сказала она, — я служила вашей матушке до самой ее смерти, за вами ходила со дня рождения и до нынешнего дня! Думаю, можно сказать, что я предана вашей семье...

Она ждала ответа.

Паран пробормотал:

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

Она продолжала:

— Сами знаете, на деньги я никогда не льстилась, а всегда берегла ваше добро; никогда я вас не обманывала, никогда вам не врала, вам нечем меня попрекнуть.

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

— Так вот, барин, дольше я терпеть не могу. Только из любви к вам я молчала, боялась вам глаза раскрыть. Но теперь довольно. Весь квартал над вами смеется. Конечно, это ваше дело, но только это все знают. Видно, придется мне все рассказать вам, хоть и не охотница я до сплетен. Барыня потому приходит домой, когда ей вздумается, что она нехорошими делами занимается.

Он растерялся, не понимал и мог только пролепетать:

— Замолчи... Ведь я тебе запретил...

Она оборвала его на полуслове с непреодолимой решительностью:

— Нет, барин, теперь я вам все выложу. Уже давно барыня согрешила с господином Лимузеном. Я сама раз двадцать видела, как они целовались за дверьми. Уж поверьте, будь господин Лимузен богат, барыня не вышла бы замуж за господина Парана. Вы только вспомните, как ваша свадьба сладилась, и сразу вам все станет ясно, как на ладони...

Паран встал. Он был бледен и лепетал:

— Замолчи... замолчи... Не то...

Она продолжала:

— Нет, я вам все выложу. Барыня вышла за вас из расчета и с первого же дня изменяла вам. Между ними уговор был! Надо только подумать немножко, и все станет понятно. Барыня злилась, что вышла за вас не по любви, вот она и стала портить вам жизнь, да так портить, что у меня сердце кровью обливалось. Я-то все видела...

Он сделал два шага, сжав кулаки, повторяя:

— Замолчи... Замолчи...

Он не находил другого ответа.

Старая нянька не отступала; казалось, она решилась на все.

Но тут Жорж, сначала растерявшийся, потом перепуганный сердитыми голосами, пронзительно закричал. Он стоял позади отца и, сморщившись, открыв рот, громко ревел.

Вопли сына вывели из себя Парана, придали ему смелости и разъярили его. Он ринулся на Жюли с поднятыми кулаками.

— Подлая, — крикнул он, — ты ребенка перепугаешь!

Он уже готов был ее ударить. Тогда она бросила ему в лицо:

— Бейте, если вам угодно, бейте меня, хоть я вас и вынянчила; только этим делу не поможешь, жена вас обманывает, и сын у нее не от вас!..

Он сразу остановился, уронил руки и стоял перед ней, оторопев, ничего не понимая. А она добавила:

— Достаточно посмотреть на мальчика, чтобы признать отца, ей-богу! Вылитый портрет господина Лимузена. Стоит только на глаза и лоб посмотреть. Слепому, и тому ясно.

Но он схватил ее за плечи и принялся трясти изо всех сил, крича:

— Змея... Змея! Вон отсюда, змея!.. Убирайся, или убью!.. Вон, вон отсюда!..

И отчаянным усилием он вытолкнул ее в соседнюю комнату. Она повалилась на стол, уже накрытый, стаканы упали и разбились; поднявшись, она загородилась от него столом и, пока он гонялся за ней, стараясь ее схватить, выкрикивала ужасные слова:

— Вы, барин, только уйдите из дому... сегодня вечером... после обеда... И вернитесь невзначай... Вот тогда увидите... Увидите, правду я говорила или врала... Вы, барин, только попробуйте... и увидите.

Она очутилась на пороге кухни и скрылась за дверью. Он погнался за ней, взбежал по черной лестнице до комнаты для прислуги, где она заперлась, и крикнул, стуча в дверь:

— Сейчас же уходи вон из дому!

Она ответила из-за двери:

— Можете быть спокойны. Через час меня здесь не будет.

Тогда он медленно сошел вниз, цепляясь за перила, чтобы не упасть, и вернулся в гостиную, где Жорж сидел на полу и плакал.

Паран опустился в кресло и тупым взглядом посмотрел на ребенка. Он уже ничего не понимал, ничего не знал; он был оглушен, подавлен, ошеломлен, словно его ударили по голове; он с трудом вспоминал то страшное, что рассказала ему нянька. Потом мало-помалу рассудок его успокоился и прояснился, словно взбаламученная вода, чудовищное разоблачение стало грызть его сердце.

Жюли говорила так определенно, так убедительно, так уверенно, так искренне, что он не сомневался в ее правдивости. Но он упорно не хотел верить в ее пронзительность. Она могла ошибаться, ослепленная преданностью ему, подстрекаемая бессознательной ненавистью к Анриетте. Однако, по мере того как он старался успокоить и убедить себя, в памяти вставали тысячи ничтожных фактов: слова жены, взгляды Лимузена, масса неосознанных, почти незамеченных мелочей, поздние отлучки из дому, одновременное отсутствие обоих сразу, даже жесты, как будто совсем незначительные, но странные, — он тогда не сумел их подметить, не сумел понять, а теперь они казались ему чрезвычайно значительными, свидетельствовали о каком-то сообщничестве. Все, что было после их помолвки, вдруг всплыло в его памяти, возбужденной и встревоженной. Он восстановил все: и необычные интонации и подозрительные позы; жалкому, потрясенному сомнениями рассудку этого мирного и доброго человека теперь представлялось уже достоверностью то, что пока еще могло быть только подозрением.

С яростным упорством пересматривал он все пять лет своей брачной жизни, стараясь вспомнить все, месяц за месяцем, день за днем; и всякая тревожная подробность впивалась ему в сердце, как осиное жало.

Он позабыл о Жорже, который замолк, сидя на ковре. Но мальчик, видя, что им никто не занимается, снова захныкал.

Отец бросился к нему, схватил на руки и покрыл поцелуями его голову. У него остался ребенок! Какое значение имело все остальное? Он держал своего ребенка, прижимал к себе, целовал его белокурые волосы, бормотал, успокоенный, утешенный: «Жорж... сынок мой, дорогой мой сынок...» Но вдруг он вспомнил, что сказала Жюли! Она сказала, что ребенок был от Лимузена... Нет, это невозможно! Нет, он никогда этому не поверит, ни на минуту не усомнится. Это подлая клевета, взлелеянная мелкой душонкой прислуги! Он повторил: «Жорж... Дорогой мой сынок!» Отцовская ласка успокоила мальчика.

Паран чувствовал, как тепло маленького тельца через платье проникает к нему в грудь. Нежное детское тепло переполняло его любовью, решимостью, радостью; оно согревало, укрепляло, спасало его.

Он чуточку отстранил от себя хорошенькую курчавую головку и с горячей любовью посмотрел на мальчика. Жадно, в самозабвении любовался он им и все повторял: «Сынок, мой милый сынок, Жорж!..»

И вдруг он подумал: «А что, если он похож на Лимузена!..»

Он ощутил что-то странное, что-то ужасное, резкий холод во всем теле, во всех членах, словно кости в нем вдруг оледенели. О, если он похож на Лимузена! И Паран смотрел на Жоржа, совсем уже повеселевшего. Смотрел на него растерянным, затуманенным, обезумевшим взглядом и искал в линиях лба, носа, губ и щек что-нибудь, напоминающее лоб, нос, губы или щеки Лимузена.

Мысли его путались, как в припадке безумия, и лицо его ребенка менялось у него на глазах, приобретало странное выражение, неправдоподобное сходство.

Жюли сказала: «Слепому, и тому ясно». Значит, было что-то разительно, бесспорно похожее! Но что? Может быть, лоб? Возможно... Но у Лимузена лоб более узкий! Тогда рот? Но Лимузен носит бороду! Как усмотреть сходство между пухлым детским подбородком и щетинистым подбородком мужчины?

Паран думал: «Я не понимаю, больше ничего не понимаю; я слишком взволнован; сейчас я ни в чем не разберусь... Надо повременить; посмотрю на него повнимательнее завтра утром, как только встану».

Потом у него мелькнула мысль: «Ну, а что, если он похож на меня? Ведь тогда я спасен, спасен!»

Он мигом очутился на другом конце гостиной и остановился перед зеркалом, чтобы сравнить лицо сына со своим.

Он держал Жоржа на руках так, чтобы лица их были рядом, и в смятении разговаривал вслух сам с собой: «Да, нос тот же... Нос тот же... Да, пожалуй... Нет, я не уверен... И взгляд у нас тот же. Да нет же, у него глаза голубые... Значит... О! Господи боже мой!.. Господи боже мой!.. Я с ума сойду... Не могу больше смотреть... С ума сойду...»

И он убежал подальше от зеркала, в противоположный угол гостиной, упал в кресло, посадил мальчика на другое и заплакал. Он плакал, тяжело, безудержно всхлипывая. Жорж услышал, как рыдает отец, и сам заревел с испугу.

Зазвонил звонок. Паран вскочил, как ужаленный, и пробормотал: «Это она... Что мне делать?..» Он побежал к себе в спальню и заперся там, чтобы успеть хотя бы глаза вытереть. Но через минуту он опять вздрогнул от нового звонка; тут он вспомнил, что Жюли ушла, не предупредив горничную. Значит, дверь открыть некому. Что делать? Он пошел сам.

И вдруг он почувствовал смелость, решимость, способность скрывать и бороться. От пережитого им ужасного потрясения он стал зрелым человеком за несколько минут. А потом он хотел знать, хотел страстно, настойчиво, как умеют хотеть люди робкие и добродушные, когда их выведут из себя.

И все же он дрожал! От страха? Да... Может быть, он все еще боялся ее? Кто знает, сколько отчаявшейся трусости таится порою в отваге?

Он на цыпочках подкрался к двери и остановился, прислушался. Сердце его страшно колотилось. Он слышал только глухие удары у себя в груди да тоненький голосок Жоржа, все еще плакавшего в гостиной.

Вдруг над самой его головой раздался звонок, и он весь затрясся, как от взрыва; теперь он наконец нащупал замок, задыхаясь, изнемогая, повернул ключ и распахнул дверь.

Жена и Лимузен стояли перед ним на площадке.

Она сказала с удивлением, в котором сквозила легкая досада:

— Ты уж и двери сам открываешь. А Жюли где?

Ему сдавило горло, он часто дышал, силился ответить и не мог произнести ни слова. Она продолжала:

— Ты что, онемел? Я спрашиваю, где Жюли?

Тогда он пролепетал:

— Она... она... она ушла...

Жена начала сердиться:

— Как ушла? Куда? Зачем?

Он понемногу оправился и почувствовал, как в нем накапливается острая ненависть к наглой женщине, стоящей перед ним.

— Да, ушла, ушла совсем... Я ее рассчитал...

— Ты ее рассчитал?.. Рассчитал Жюли?.. Да ты в уме ли?

— Да, рассчитал, потому что она надерзила и потому... потому, что она обидела ребенка.

— Жюли?

— Да... Жюли.

— Из-за чего она надерзила?

— Из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да... Потому что обед перестоялся, а тебя не было дома.

— Что она наговорила?

— Наговорила... всяких гадостей по твоему адресу. Я не должен был, не мог слушать...

— Каких гадостей?

— Не стоит повторять.

— Я хочу знать!

— Она сказала, что такой человек, как я, на свою беду, женился на такой женщине, как ты, неаккуратной, ветреной, неряхе, плохой хозяйке, плохой матери и плохой жене...

Молодая женщина вошла в переднюю вместе с Лимузеном, который молчал, озадаченный неожиданной сценой. Она захлопнула дверь, бросила пальто на стул и, наступая на мужа, раздраженно повторила:

— Ты говоришь... ты говоришь... что я?..

Он был очень бледен, но очень спокоен. Он ответил:

— Я, милочка, ничего не говорю; я только повторяю слова Жюли, ты ведь хотела их знать; и позволь тебе заметить, что за эти самые слова я и выгнал ее.

Она дрожала от безумного желания вцепиться ему в бороду, исцарапать ногтями щеки. В его голосе, в тоне, во всем поведении она уловила явный протест, но ничего не могла возразить и старалась взять инициативу в свои руки, уязвить его каким-нибудь жестоким и обидным словом.

— Ты обедал? — сказала она.

— Нет, я ждал тебя.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Глупо ждать после половины восьмого. Ты должен был понять, что меня задержали, что у меня были дела в разных концах города.

Потом ей вдруг показалось необходимым, объяснить, куда она потратила столько времени. Пренебрежительно, в нескольких словах рассказала она, что выбирала кое-что из обстановки, очень, очень далеко от дома, на улице Рэн, что, возвращаясь, уже в восьмом часу, встретила на бульваре Сен-Жермен г-на Лимузена и попросила его зайти с ней в ресторан перекусить, — одна она не решалась, хотя и умирала с голоду. Таким образом, они с Лимузеном пообедали, хотя вряд ли это можно назвать обедом — чашка бульона и по куску цыпленка, — так как очень торопились домой.

Паран просто ответил:

— Отлично сделала. Я тебя не упрекаю.

Тут Лимузен, до тех пор молчавший и державшийся позади Анриетты, подошел и протянул руку, пробормотав:

— Как поживаешь?

Паран взял протянутую руку и вяло пожал ее.

— Спасибо, хорошо.

Но молодая женщина прицепилась к одному слову в последней фразе мужа.

— Не упрекаешь... При чем тут упреки?.. Можно подумать, будто ты хочешь на что-то намекнуть.

Он стал оправдываться:

— Да совсем нет. Я просто хотел сказать, что не беспокоился и нисколько не виню тебя за опоздание.

Она решила разыграть обиженную и сказала, ища предлога для ссоры:

— За опоздание? Право, можно подумать, что уже бог знает как поздно и что я где-то пропадаю по ночам.

— Да нет же, милочка. Я сказал «опоздание», потому что не подыскал другого слова. Ты хотела вернуться в половине седьмого, а вернулась в половине девятого. Это и есть опоздание! Я все отлично понял; я... я... я даже не удивляюсь... Но... но... я не знаю... какое другое слово придумать.

— Ты произносишь его так, словно я по ночам дома не бываю.

— Да нет же... нет.

Она поняла, что его не вывести из себя, и уже пошла было в спальню, но вдруг услышала рев Жоржа и встревожилась:

— Что с мальчиком?

— Я же тебе сказал, что Жюли его обидела.

— Что эта дрянь ему сделала?

— Да пустяки, она его толкнула, и он упал.

Она решила сама взглянуть на сына и торопливо вошла в столовую, но остановилась при виде залитого вином стола, разбитых графинов и стаканов, опрокинутых солонок.

— Что за разгром?

— Это Жюли, она...

Но она резко оборвала его:

— В конце концов, это уж слишком! Жюли объявляет, что я потеряла всякий стыд, бьет моего ребенка, колотит мою посуду, переворачивает все в доме вверх дном, а тебе кажется, что так и надо.

— Да нет же... ведь я ее рассчитал.

— Скажите!.. Рассчитал!.. Да ее арестовать надо было. В таких случаях вызывают полицию.

Он промямлил:

— Но, милочка... да как же я мог... на каком основании? Право же, невозможно...

Она пожала плечами с безграничным презрением.

— Знаешь, что я тебе скажу: тряпка ты, тряпка, ничтожный, жалкий человек, безвольный, бессильный, беспомощный! Уж, верно, приятных вещей наговорила твоя Жюли, раз ты посмел ее выгнать. Хотелось бы мне на это взглянуть, хоть одним глазком взглянуть.

Открыв дверь в гостиную, она подбежала к Жоржу, взяла его на руки, обняла, поцеловала.

— Что с тобой, котик, что с тобой, голубчик мой, цыпонец моя?

Оттого, что мать приласкала его, он успокоился. Она повторила:

— Что с тобой?

Он ответил, все перепутав с испугу:

— Жюли папу побила.

Анриетта оглянулась на мужа сначала в недоумении, затем ее глаза заискрились безудержным весельем, нежные щеки дрогнули, верхняя губа приподнялась, ноздри расширились, и громкий смех, серебристый и звонкий, волной радости, как птичья трель, полился из ее уст. Слова, которые она повторяла, взвизгивая, сверкая злым оскалом зубов, так и впивались в сердце Парана:

— Ха... ха... ха! По... по... побила тебя... ха... ха... как смешно... как смешно. Лимузен, слышите, Жюли его побила... побила... Жюли побила моего мужа... ха-ха-ха... как смешно!..

Паран пробормотал:

— Да нет же... нет... неправда... неправда. Совсем наоборот, это я вытолкнул ее в столовую, да так, что она опрокинула стол. Мальчик спугал, это я ее побил!

Анриетта сказала сыну:

— Повтори, цыпонец, Жюли побила папу?

Он ответил:

— Да, Жюли побила.

Но, внезапно вспомнив о другом, она сказала:

— Да ведь мальчик не обедал? Ты не кушал, мой миленький?

— Нет, мама.

Тогда она накинулась на мужа:

— Да ты что, рехнулся, совсем рехнулся? Половина девятого, а Жорж не обедал!

Он стал оправдываться, сбитый с толку этой сценой, этими объяснениями, подавленный крушением всей своей жизни.

— Но, милочка, мы тебя ждали. Я не хотел обедать без тебя. Ведь ты всегда опаздываешь, я и думал, что ты вернешься с минуты на минуту.

Она швырнула на стул шляпу, которую до сих пор не сняла, и сказала возмущенным тоном:

— Просто невыносимо иметь дело с людьми, которые ничего не понимают, не догадываются, как поступить, ни до чего не доходят своим умом! Ну, а если бы я в двенадцать ночи вернулась, так ребенок и остался бы ненакормленным? Точно ты не мог понять, что, раз я не вернулась к половине восьмого, значит, у меня дела, что-то мне помешало, меня задержали!..

Паран дрожал, чувствуя, как его одолевает гнев; но тут вмешался Лимузен, обратившись к молодой женщине:

— Вы не правы, мой друг. Где же было Парану догадаться, что вы так запоздаете, если обычно с вами этого не случается. А потом, как

же вы хотите, чтобы он один со всем справился? Ведь он выгнал Жюли!

Но Анриетта с раздражением ответила:

— Справляться ему так или иначе придется, я помогать не буду. Пусть выпутывается, как хочет!

И она ушла к себе в спальню, уже позабыв, что сын ничего не ел.

Тогда Лимузен бросился помогать своему приятелю. Он просто из кожи лез — подобрал и вынес осколки, покрывавшие стол, расставил приборы и усадил ребенка на высокий стульчик, пока Паран сходил за горничной и велел ей подавать. Та пришла удивленная: она работала в детской и ничего не слышала.

Она принесла суп, пережаренную баранину, картофельное пюре.

Паран сел рядом с сыном, в полном смятении, не в силах собраться с мыслями после постигшей его беды. Он кормил ребенка и сам пытался есть, резал мясо, жевал, но глотал его с трудом, словно горло у него было сдавлено.

И вот мало-помалу в его душе возникло безумное желание взглянуть на Лимузена, сидевшего напротив и катавшего хлебные шарики. Ему хотелось посмотреть, похож ли тот на Жоржа. Но он не смел поднять глаз. Наконец он решился и вдруг пристально посмотрел на это лицо, которое хорошо знал, но тут как будто увидел впервые, настолько оно показалось ему иным, чем он ожидал. Он ежеминутно украдкой взглядывал на это лицо, стараясь вникнуть в малейшую морщинку, в малейшую черточку, в малейший оттенок выражения, потом переводил взгляд на сына, делая вид, будто уговаривает его кушать.

Два слова звенели у него в ушах: «Его отец! его отец! его отец!..» Они стучали у него в висках при каждом биении сердца. Да, этот человек, этот спокойный человек, сидевший на другой стороне стола, — быть может, отец его сына, Жоржа, его маленького Жоржа. Паран бросил есть, он больше не мог. Все внутри у него разрывалось от невыносимой боли, той боли, от которой люди воют, катаются по земле, кусают стулья. Ему захотелось взять нож и проткнуть себе живот. Это прекратило бы его страдания, спасло бы его: тогда наступил бы конец всему.

Как может он жить дальше? Как может жить, вставать утром, сидеть за обедом, ходить по улицам, ложиться вечером и спать ночью, раз его непрестанно будет точить одна мысль: «Лимузен — отец Жоржа!..» Нет, у него не хватит сил сделать хоть шаг, не хватит сил одеваться, о чем-то думать, с кем-то говорить! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно он будет задавать себе тот же вопрос, будет стараться узнать, отгадать, раскрыть эту ужасную тайну. И всякий раз, глядя на своего мальчика, на своего дорогого мальчика, он будет страдать от ужасных мук сомнения, его сердце будет обливаться кровью, душу истерзают нечеловеческие пытки. Ему придется жить здесь, оставаться в этом доме, рядом с ребенком, и он будет и любить и ненавидеть его! Да, в конце концов он его непременно возненавидит. Какая пытка! О, если бы твердо знать, что Лимузен — его отец; может быть, тогда ему удастся успокоиться, смириться в своем горе, в своей боли. Но не знать — вот что нестерпимо!

Не знать, вечно допытываться, вечно страдать, целовать этого ребенка, чужого ребенка, гулять с ним по улице, носить на руках, чувствовать на губах нежное прикосновение его мягких волосиков, обожать его и непрестанно думать: «Может быть, это не мой ребенок?» Лучше не видеть его, покинуть, бросить на улице или самому убежать далеко, так далеко, чтобы ни о чем больше не слышать, не слышать никогда!

Он вздрогнул, услышав, как скрипнула дверь. Вошла жена.

— Я голодна, — сказала она, — а вы, Лимузен?

Лимузен, помедлив, ответил:

— Правду сказать, я тоже.

И она приказала снова подать баранину.

Паран задавал себе вопрос: «Обедали они или нет? Может быть, их задержало любовное свидание?»

Теперь оба они ели с большим аппетитом, Анриетта спокойно смеялась и шутила. Муж следил и за ней, бросал быстрые взгляды и сейчас же отводил глаза. На ней был розовый капот, отделанный белым кружевом; ее белокурая головка, свежая шея, полные руки выступали из этой кокетливой душистой одежды, словно из раковины, обрызганной пеной. Что делали они целый день, она и этот мужчина? Паран представлял себе их в объятиях друг друга, шепчущих страстные слова! Как мог он ничего не узнать, не отгадать правды, видя их вот так, рядом, напротив себя?

Как, должно быть, они смеялись над ним, если с первого дня обманывали его! Мыслимо ли измываться так над человеком, порядочным человеком, только за то, что отец оставил ему кое-какие деньги! Почему нельзя прочесть в душах, что там творится; как это возможно, чтобы ничто не раскрыло чистому сердцем обман вероломных сердец; как возможно тем же голосом и лгать и говорить слова любви; как возможно, чтобы предательский взор ничем не отличался от честного взора?

Он следил за ними, подкарауливал жесты, слова, интонации. Вдруг он подумал: «Сегодня вечером я их поймаю». И сказал:

— Милочка, я рассчитал Жюли, значит, надо сегодня же подыскать новую прислугу. Пойду сейчас же, чтобы найти кого-нибудь уже на завтра, с утра. Может быть, я немного задержусь.

Она ответила:

— Ступай, я уже никуда не уйду. Лимузен терпит со мной. Мы подождем тебя.

Затем она сказала, обращаясь к горничной:

— Уложите спать Жоржа, потом уберете со стола и можете идти.

Паран встал. Он еле держался на ногах, голова кружилась, он шатался. Он пробормотал: «До свидания» — и вышел, держась за стену, так как пол уплывал у него из-под ног.

Горничная унесла Жоржа. Анриетта и Лимузен перешли в гостиную. Как только закрылась дверь, он сказал:

— Ты с ума сошла, зачем ты изводишь мужа?

Она обернулась:

— Ах, знаешь, мне начинает надоедать, что с некоторых пор у тебя появилась манера изображать Парана каким-то мучеником.

Лимузен сел в кресло и, положив ногу на ногу, сказал:

— Я совершенно не изображаю его мучеником, но считаю, что в нашем положении нелепо с утра до вечера делать все наперекор твоему мужу.

Она взяла с камина папироску, закурила и ответила:

— Я совсем не делаю ему все наперекор, просто он раздражает меня своей глупостью... Как он того заслуживает, так я с ним и обращаюсь.

Лимузен перебил нетерпеливым тоном:

— Нелепо так себя вести! Впрочем, женщины все на один лад. Да что же это такое! Отличный человек, добрый и доверчивый до глупости, ни в чем нас не стесняет, ни одной минуты не подозревает, дает нам полную свободу, оставляет в покое, а ты так и стараешься взбесить его и испортить нам жизнь!

Она повернулась к нему.

— Слушай, ты мне надоел! Ты трус, как и все мужчины. Ты боишься этого кретина!

Он в ярости вскочил.

— Хотел бы я знать, чем он тебе досадил и за что ты на него сердисься? Что, он тебя тиранит? Бьет? Обманывает? Нет, это в конце концов невыносимо! Заставлять так страдать человека только за то, что он чересчур добр, и злиться на него только за то, что сама ему изменяешь.

Она подошла к Лимузену и, глядя ему в глаза сказала:

— И ты меня упрекаешь в том, что я ему изменяю? Ты? Ты? Ты? Ну и подлая же у тебя душа после этого!

Он стал оправдываться, несколько пристыженный:

— Да я тебя ни в чем не упрекаю, дорогая, а только прошу тебя немножко бережнее обращаться с мужем, ведь нам обоим важно не возбуждать его подозрений. Мне кажется, следовало бы это понимать.

Они стояли совсем рядом, он — высокий брюнет с бакенбардами, несколько развязный, какими бывают мужчины, довольные своей наружностью; она — миниатюрная, розовая и белокурая, типичная парижанка, полукокетка, полумещаночка, с малых лет привыкшая стрелять глазами в прохожих с порога магазина, где она выросла, и выскочившая замуж за случайно увлеченного ею простодушного фланера, который влюбился в нее, видя ее ежедневно все там же, у дверей лавки, и утром, когда он выходил из дому, и вечером, когда возвращался.

Она говорила:

— Глупый, неужели ты не понимаешь, что ненавижу я его как раз за то, что он на мне женился, за то, что он меня купил; наконец, все, что он говорит, все, что делает, что думает, действует мне на нервы. Ежеминутно он раздражает меня своей глупостью, которую ты называешь добротой, своей недогадливостью, которую ты называешь доверчивостью, а главным образом тем, что он мой муж, он, а не ты! Я чувствую, что он стоит между нами, хотя я нас совсем не стесняет. И потом... потом... надо быть полным идиотом, чтобы ничего не подозревать! Лучше бы уж он ревновал. Бывают минуты, когда мне хочется ему крикнуть: «Осел, да неужели же ты ничего не видишь, неужели не понимаешь, что Поль мой любовник!»

Лимузен расхохотался.

— Но пока что тебе лучше молчать и не нарушать нашего мирного существования.

— О, будь спокоен, не нарушу. С таким дураком бояться нечего. Нет, просто поверить не могу, что ты не понимаешь, как он мне противен, как он меня раздражает! У тебя всегда такой вид, будто ты его любишь, ты ему всегда искренне жмешь руку. Мужчины — странный

народ.

— Дорогая моя, надо же уметь притворяться.

— Дело, дорогой мой, не в притворстве, а в чувстве. Вы, мужчины, обманываете друга и как будто от этого еще сильнее его любите; а нам, женщинам, муж делается ненавистен с той минуты, как мы его обманем.

— Не понимаю, чего ради ненавидеть хорошего человека, у которого отнимаешь жену?

— Тебе не понятно? Не понятно? Вам всем не хватает чуткости! Что делать! Есть вещи, которые чувствуешь, а растолковать не можешь. Да и не к чему... Ну, да тебе все равно не понять. Нет в вас, в мужчинах, тонкости...

И, улыбаясь ему чуть презрительной улыбкой развращенной женщины, она положила ему на плечи обе руки и протянула губы; он склонил к ней голову, сжал ее в объятиях, и губы их слились. И так как они стояли у камина перед зеркалом, другая, совершенно такая же чета поцеловалась в зеркале за часами.

Они ничего не слышали: ни звука ключа, ни скрипа двери; но вдруг Анриетта пронзительно вскрикнула, обеими руками оттолкнула Лимузена, и они увидели Парана, разутого, в надвинутой на лоб шляпе; он смотрел на них, бледный, сжимая кулаки.

Он смотрел на них, быстро переводя взгляд с нее на него и не поворачивая головы. Он казался сумасшедшим. Затем, не говоря ни слова, он набросился на Лимузена, сгреб его, стиснул, будто хотел задушить, рванул что было мочи, и тот, потеряв равновесие, размахивая руками, отлетел в угол и ударился лбом о стену.

Но Анриетта, поняв, что муж убьет любовника, бросилась на Парана, вонзила ему в шею все свои десять тоненьких розовых пальчиков и сжала ему горло с отчаянной силой обезумевшей женщины, так что кровь брызнула у нее из-под ногтей. Она кусала его в плечо, словно хотела в ключья разорвать его зубами. Задышавшись, изнемогая, Паран выпустил Лимузена, чтобы стряхнуть жену, вцепившуюся ему в шею, и, схватив ее за талию, отбросил на другой конец гостиной.

Потом он остановился между ними обоими, отдуваясь, обессилев, не зная, что делать, так как был вспыльчив, но отходчив, подобно всем добрякам, и быстро выдыхался, подобно всем слабым людям. Его животная ярость нашла выход в этом порыве — так вырывается пена из откупоренной бутылки шампанского, — и непривычное для него напряжение разрядилось одышкой. Как только к нему вернулся дар речи, он пробормотал:

— Убирайтесь... убирайтесь оба... Убирайтесь сейчас же...

Лимузен стоял в углу, точно прилипнув к стене, ничего не понимая, так он был озадачен, боясь пошевелить пальцем, так он был перепуган; Анриетта, растрепанная, в расстегнутом лифе, с обнаженной грудью, оперлась обеими руками на столик, вытянула шею, насторожившись, как зверь, приготовившийся к прыжку.

Паран повторил громче:

— Сейчас же убирайтесь вон... Сейчас же!

Видя, что первая вспышка улеглась, жена осмелела, выпрямилась, шагнула к нему и сказала уже наглым тоном:

— Ошалел ты, что ли? Какая муха тебя укусила!.. Что за безобразная выходка?..

Он обернулся к ней, занес руку, чтобы ее ударить, и выкрикнул, заикаясь:

— О... о... это... это... уж слишком! Я... я... я... все слышал... все... все!.. Понимаешь... все! Подлая!.. подлая!.. Оба вы подлые... убирайтесь!.. Оба... сейчас же... Убью!.. Убирайтесь!..

Она поняла, что все кончено, что он знает, что ей не выгородить себя и надо покориться. К ней вернулась ее обычная наглость, а ненависть к этому человеку, дошедшая теперь до предела, подстрекала ее к дерзким выпадам, порождая желание держать себя вызывающе, бравировать своим положением.

Она сказала звонким голосом;

— Идемте, Лимузен. Раз меня гонят, пойду к вам.

Но Лимузен не тронулся с места. Паран в новом порыве гнева закричал:

— Да убирайтесь же!.. убирайтесь! Подлые... Не то... Не то...

Он схватил стул и стал вертеть им над головой.

Тогда Анриетта быстро перебежала гостиную, взяла любовника под руку, оторвала его от стены, к которой он будто прирос, и потащила к двери, повторяя:

— Идемте, мой дорогой, идемте... Вы же видите, что это сумасшедший... Идемте!..

Уже выходя, она оглянулась на мужа, придумывая, чем бы ему еще досадить, что бы еще изобрести такое, что ранило бы его в самое сердце прежде, чем покинуть его дом. И вдруг ей пришла мысль, ядовитая, смертоносная мысль, порожденная женским коварством.

Она сказала решительным тоном:

— Я хочу забрать моего ребенка.

Ошеломленный Паран пролепетал.

— Твоего... твоего... ребенка? Ты смеешь говорить о твоём ребенке?.. Ты смеешь... смеешь требовать твоего ребенка... после... после всего... О, о, это уж слишком! Ты смеешь?.. Убирайся вон, мерзавка, убирайся вон!..

Она подошла к нему вплотную, улыбаясь, чувствуя себя уже почти отомщенной, и прямо в лицо ему вызывающе крикнула:

— Я хочу забрать моего ребенка, и ты не имеешь права не дать мне его, потому что он не от тебя... понимаешь, понимаешь... Он не от тебя... Он от Лимузена...

Паран в отчаянии выкрикнул:

— Лжешь... лжешь... подлая!

Но она не унималась:

— Дурак! Все это знают, только ты не знаешь. Говорю тебе: вот его отец. Достаточно посмотреть...

Паран, шатаясь, отступал перед ней. Потом он вдруг обернулся, схватил свечку и бросился в соседнюю комнату.

Вернулся он почти тут же, неся на руках Жоржа, завернутого в одеяла. Внезапно разбуженный, ребенок напугался и плакал. Паран бросил его на руки жене, затем, не прибавив ни слова, грубо вытолкнул ее за дверь на лестницу, где из осторожности дожидался ее Лимузен.

Затем он закрыл дверь, повернул два раза ключ в замке и задвинул засов. Не успел он войти в гостиную, как ничком повалился на пол.

Паран стал жить один, совсем один. Первое время после разрыва новизна одинокого существования отвлекала его от дум. Он снова зажил холостяком, вернулся к прежним привычкам, фланировал по улицам, обедал в ресторане. Желая избежать скандала, он выплачивал жене через нотариуса определенную сумму. Но мало-помалу воспоминание о ребенке стало его преследовать. Часто по вечерам, когда он сидел дома один, ему вдруг чудилось, будто Жорж зовет его: «Папа». Сердце у него сейчас же начинало усиленно биться, и он спешил открыть дверь на лестницу и поглядеть, не вернулся ли домой его мальчик. Ведь мог же он вернуться, как возвращаются собаки или голуби. Почему не быть инстинкту у ребенка, раз он есть у животных?

Убедившись в своей ошибке, он снова усаживался в кресло и думал о сыне. Он думал о нем часами, думал целыми днями. Тоска его была не только душевной, это была, пожалуй, даже больше тоска физическая, чувственная, нервная потребность целовать сына, обнимать, тискать его, сажать к себе на колени, возиться с ним, подбрасывать его к потолку. Он томился жгучими воспоминаниями о былых радостях. Он ощущал детские ручки вокруг своей шеи, губки, чмокающие его в бороду, волосики, щекочущие щеку. Жажда этих исчезнувших сладостных ласк, жажда ощутить своими губами мягкую, теплую и нежную кожу сводила его с ума, как тоска о любимой женщине, ушедшей к другому.

На улице он вдруг вспоминал, что сын, что его бутуз Жорж мог бы сейчас быть с ним, семенить рядом детскими своими ножонками, как прежде, когда они ходили гулять, и он принимался плакать. Тогда он возвращался домой и, закрыв лицо руками, рыдал до вечера.

Двадцать раз, сто раз на дню задавал себе Паран все тот же вопрос: чей сын Жорж, его или не его? Нескончаемые думы об этом обступали его главным образом по ночам. Едва он ложился в постель, как снова начинал строить ту же цепь безнадежных доводов.

Вначале, после ухода жены, он совсем не сомневался: конечно, ребенок, не его, а Лимузена. Потом им снова овладели колебания. Слова Анриетты, разумеется, не имели никакого значения. Она хотела сделать ему назло, довести его до отчаяния. Здравомысленно обсуждая все доводы «за» и «против», он приходил к выводу, что она могла и солгать. Один только Лимузен, пожалуй, сказал бы правду. Но как узнать, как спросить его, как склонить к признанию?

И вот иногда Паран вскакивал среди ночи, твердо решив сейчас же пойти к Лимузену, умолить его, дать ему все, чего тот ни пожелает, только бы положить конец ужасным мукам. Потом он снова укладывался в постель, в полном отчаянии, сообразив, что любовник тоже, верно, будет лгать. Даже обязательно будет лгать, чтобы настоящий отец не мог взять к себе сына.

Что же оставалось делать? Ничего!

И он упрекал себя в том, что ускорил события, что не подумал обо всем, не запасся терпением, не сумел выждать, притворяться месяц — другой и во всем удостовериться собственными глазами. Надо было прикинуться, будто ничего не подозреваешь, и предоставить им возможность понемногу выдать себя. Достаточно было бы посмотреть, как Лимузен целует мальчика, чтобы догадаться, чтобы понять. Друг не целует так, как отец. Он мог бы подглядывать за ними в щелочку! Как ему это не пришло в голову? Если Лимузен, оставшись с Жоржем, не схватил бы мальчика, не сжал в объятиях, не покрыл бы страстными поцелуями, а равнодушно смотрел бы, как тот играет, — все сомнения исчезли бы: значит, он не отец, он не считает, не чувствует себя отцом.

Тогда он, Паран, выгнал бы мать, но сохранил бы сына и был бы счастлив, вполне счастлив.

Он ворочался в постели, обливаясь потом, мучительно стараясь припомнить, как вел себя Лимузен с мальчиком. Но он ничего не мог восстановить в памяти, абсолютно ничего: ни подозрительного жеста, ни взгляда, ни слова, ни ласки. Да и мать тоже совсем не занималась ребенком. Будь он от любовника, верно, она любила бы его сильнее.

Значит, его разлучили с сыном из мести, из жестокости, чтобы наказать за то, что он их поймал.

И он собирался чуть свет идти требовать через властей, чтобы ему вернули его Жоржа.

Но как только он принимал такое решение, им снова овладевала уверенность в обратном. Раз Лимузен с первого дня был любовником Анриетты, любимым ею любовником, значит, она отдавалась ему с таким порывом, с таким самозабвением, с такой страстью, что должна была стать матерью. Ведь при той холодной сдержанности, которую она вносила в супружеские отношения с ним, Параном, она вряд ли могла зачать ребенка.

Тогда, значит, он вытребует, будет держать при себе, будет растить и холить чужого ребенка. Каждый раз, как он посмотрит на мальчика, поцелует, услышит, как тот лепечет «папа», его будет точить мысль: «Он не мой сын». И самому обречь себя на эту повседневную пытку, на это вечное мученичество! Нет, лучше остаться одному, жить одному, состариться одному и умереть одному.

И каждый день, каждую ночь одолевали его те же жестокие сомнения и страдания, от которых не было ни отдыха, ни спасения. Особенно не любил он наступающей темноты, печальных сумерек. Тогда на сердце его дождем падала тоска. Он знал, что вместе с мраком нахлынет на него волна отчаяния, затопит, лишит разума. Он страшился своих мыслей, как страшатся злоумышленника, он бежал от них, словно затравленный зверь. Особенно боялся он пустой квартиры, такой темной, такой жуткой, и безлюдных улиц, где горят редкие газовые рожки и где, заслышав издали одинокого прохожего, пугаешься его, как бродяги, и невольно замедляешь или ускоряешь шаг, смотря по тому, идет ли он навстречу или следом за тобой.

И Паран, сам того не замечая, инстинктивно сворачивал на большие улицы, освещенные и многолюдные. Свет и толпа манили его, занимали, помогали ему рассеяться. Затем, когда он уставал бродить, толкаться в людском водовороте, и видел, как понемногу редет толпа, как на тротуарах становится свободнее, боязнь одиночества и тишины загоняла его куда-нибудь в кафе, полное света и народа. Он шел гуда, как мухи летят на огонь, садился за круглый столик и заказывал кружку пива. Он медленно потягивал его, огорчаясь каждый раз, как вставал и уходил кто-нибудь из посетителей. Ему хотелось взять его за рукав, удержать, попросить посидеть еще немного, до

того боялся он минуты, когда гарсон, подойдя к нему, сердито скажет: «Пора, сударь, уже закрывают...»

Ведь каждый вечер он уходил последним. Он видел, как сдвигают столики, как гасят один за другим газовые рожки, за исключением двух — над его столиком и над стойкой. Он с сокрушением следил, как кассирша пересчитывает и запирает в ящик дневную выручку, и уходил, подгоняемый шепотом прислуги: «Что он, к месту прирос, что ли? Уж будто ему и переночевать негде!»

А очутившись один, на темной улице, он сейчас же вспоминал о Жорже и снова ломал себе голову, думал и передумывал, отец он ему или нет.

Понемногу он обжился в пивной, где, постоянно толкаясь среди завсегдатаев, привыкаешь к их безмолвному присутствию, где плотный табачный дым убаюкивает тревоги, где от густого пива тяжелеет мысль и успокаивается сердце.

Он, можно сказать, поселился там. С самого утра он шел туда, чтобы поскорее очутиться на людях, чтобы было на ком остановить взгляд и мысль. Затем, обленившись и тяготясь передвижениями, он и столоваться стал там. В полдень стучал блюдцем по мраморному столику, и гарсон быстро приносил тарелку, стакан, салфетку и дежурное блюдо на завтрак. Кончив есть, он медленно пил кофе, созерцая графинчик со спиртным, предвкушая часок полного забвения. Сначала он чуть пригубливал коньяк, как бы желая только отведать его, смакуя вкусную жидкость кончиком языка. Потом, запрокинув голову, по каплям цедил коньяк в рот, медленно ополаскивая крепким напитком небо, десны, всю слизистую оболочку, что вызывало слюну. С благоговейной сосредоточенностью глотал он коньяк, разбавленный слюной, чувствуя, как жгучая влага льется по пищеводу до самого желудка.

После каждой еды он в течение часа выпивал три-четыре рюмки, потягивая их маленькими глоточками, и постепенно впадал в дремотное состояние. Голова клонилась к животу, глаза слипались, и он засыпал. Очнувшись к середине дня, он сейчас же протягивал руку к кружке с пивом, которую гарсон ставил на столик, пока он спал. Выпив, он приподнимался с красной бархатной скамейки, подтягивал брюки, обдергивал жилет, чтобы прикрыть выглянувшую белую полосу сорочки, отряхивал воротник сюртука, вытаскивал из рукавов манжеты и снова принимался за изучение газет, уже прочитанных утром. Он читал их от первой до последней строчки, не пропуская реклам, спроса и предложения труда, объявлений, биржевого бюллетеня и репертуара театров.

От четырех до шести он шел погулять по бульварам, проветриться, как он говорил. Затем опять возвращался на свое место, которое сохранялось за ним, и заказывал абсент.

Он беседовал с завсегдатаями пивной, с которыми познакомился. Они обсуждали новости дня, происшествия, политические события. Так он досиживал до обеда. Вечер проходил так же, как и день, до закрытия пивной. Это был для него самый ужасный момент. Волей-неволей надо было возвращаться в темноту, в пустую спальню, где гнездились страшные воспоминания, мучительные мысли и тревоги. Со старыми друзьями он не видался, не видался и с родными, не видался ни с кем, кто мог бы напомнить прежнюю жизнь.

Квартира стала для него адом, и он снял комнату в хорошей гостинице, прекрасную комнату в бельэтаже, чтобы можно было смотреть на прохожих. Здесь, в этом большом общественном жилище, он был не одинок; он чувствовал, что вокруг него копошатся люди, он слышал голоса за стеной; если же открытая на ночь постель и догорающий камин опять нагоняли на него мучительную тоску, он выходил в просторный коридор и, словно часовой, шагал мимо закрытых дверей, с грустью посматривая на ботинки, по две пары перед каждой дверью, на изящные дамские ботинки, прильнувшие к тяжелым мужским; и он думал, что все эти люди, верно, счастливы и сладко спят, рядышком или обнявшись, в жаркой постели.

Так прошло пять лет. Пять хмурых лет, без всяких событий, если не считать случайной любви, купленной на два часа за два луйдора.

И вот как-то, когда он совершал свою обычную прогулку от церкви Мадлен до улицы Друо, он вдруг заметил женщину, походка которой чем-то поразила его. С ней были высокий мужчина и ребенок. Все трое шли впереди него. Он задавал себе вопрос: «Где же я видел этих людей?» И вдруг по движению руки он узнал ее. Это была его жена, его жена с Лимузенем и его сыном, его маленьким Жоржем.

Он еле переводил дух, так билось у него сердце; но он не остановился, ему хотелось взглянуть на них, и он пошел следом. Казалось, это была семья, добропорядочная буржуазная семья. Анриетта шла под руку с Полем и тихо что-то говорила, временами посматривая на него. Тогда Парану был виден ее профиль. Он узнавал изящные очертания ее лица, движение губ, улыбку, ласковый взгляд. Но особенно волновал его ребенок. Каким он стал большим, крепким! Парану не видно было лица, он видел только длинные белокурые волосы, локонами падающие на шею. Этот высокий мальчуган с голыми икрами, этот маленький мужчина, шагавший рядом с матерью, был Жорж!

Они остановились перед магазином, и он вдруг увидел всех троих разом. Лимузен поседел, постарел, похудел; жена же, наоборот, расцвела и несколько раздобрела; Жоржа нельзя было узнать, так он изменился!

Они пошли дальше. Паран снова двинулся следом за ними. Потом быстро перегнал, вернулся и посмотрел вблизи, прямо им в лицо. Проходя мимо мальчика, он вдруг ощутил желание, безумное желание схватить его на руки и унести. Словно случайно задел он его. Мальчик обернулся и недовольно взглянул на неловкого прохожего. И Паран убежал, пораженный, преследуемый, раненный этим взглядом. Он убежал, как вор, в невероятном страхе, чтобы жена и ее любовник не увидели и не узнали его. Не передохнув, добежал он до своей пивной и, запыхавшись, упал на стул.

В этот вечер он выпил три рюмки абсента.

Четыре месяца не заживала в его сердце рана от этой встречи. Каждую ночь они снились ему все трое: отец, мать и сын, счастливые, спокойные, гуляющие по бульвару перед тем, как идти обедать домой. Эта новая картина заслонила прежнюю. Теперь это было что-то иное, иное видение, а с ним и иная боль. Жорж, его сыночек Жорж, которого он так любил, так лелеял когда-то, исчез в далеком и навсегда ушедшем прошлом. Он видел нового Жоржа, будто брата первого, мальчика с голыми икрами, который не знал его, Парана. Он ужасно страдал от этой мысли. Любовь мальчика умерла; связь между ними оборвалась; ребенок, увидя его, не протянул к нему рук, а даже сердито покосился на него.

Но мало-помалу Паран снова встал; душевные муки ослабли. Картина, представшая его глазам, преследовавшая его целыми ночами, потускнела, стала возникать реже. Он опять зажил, почти как все, как все бездельники, что пьют пиво за мраморными столиками и до дыр просиживают брюки на скамеечках, обитых потертым бархатом.

Он состарился в дыму трубок, облысел под огнем газовых рожков, стал почитать за событие ванну раз в неделю, стрижку волос два раза в месяц, покупку нового костюма или шляпы. Если он приходил в свою пивную в новой шляпе, то раньше, чем сесть за столик, долго разглядывал себя в зеркале, надевал и снимал ее несколько раз подряд, примерял на все лады, а потом спрашивал свою приятельницу-буфетчицу, которая с интересом смотрела на него: «Как, по-вашему, шляпа мне к лицу?»

Два-три раза в год он бывал в театре, а летом проводил иногда вечер в кафешантане на Елисейских Полях. Неделями потом звучали у него в памяти мотивы, вынесенные оттуда, и, сидя за кружкой пива, он даже напевал их, отбивая такт ногой.

Шли годы, медленные, однообразные и короткие, потому что они ничем не были заполнены.

Он не чувствовал, как они скользили мимо. Он подвигался к смерти, не суется, не волнуясь, сидя за столиком в пивной, и только большое зеркало, к которому прислонялась его лысеющая с каждым днем голова, отмечало работу времени, проносящегося, убегающего, пожирающего людей, жалких людей.

О тягостной драме, которая разбила его жизнь, думал он теперь редко, ведь с того страшного вечера прошло двадцать лет.

Но существование, которое он создал себе после этого, подорвало его здоровье, ослабило, истощило его, и хозяин пивной — шестой по счету с тех пор, как он стал там завсегдатаем, — частенько убеждал его: «Вам бы встряхнуться, господин Паран, подышать свежим воздухом, проехаться за город; право, за последние месяцы вас узнать нельзя».

И когда посетитель уходил, хозяин делился своими соображениями с кассиршей: «Бедный господин Паран, плохо его дело. Вредно для здоровья вечно сидеть в Париже. Посоветуйте ему съездить разок-другой в деревню, покушать рыбы, ведь вам он верит. Скоро лето, это ему полезно».

И кассирша, благоволившая к постоянному клиенту и жалевшая его, каждый день твердила Парану: «Послушайте, сударь, выберите подышать свежим воздухом. В теплую погоду в деревне так хорошо! Ох, будь моя воля, всю бы жизнь там провела!»

И она делилась с ним своими грезами, поэтичными, незатейливыми, как у всех бедных девушек, которые круглый год безвыходно сидят в магазине и сквозь окна наблюдают шумную и искусственную уличную жизнь, а сами мечтают о мирной сельской жизни, среди полей и деревьев, под ярким солнцем, заливающим и луга, и леса, и прозрачные реки, и коров, лежащих на траве, и пестрые цветы, растущие на воле, — голубые, красные, желтые, фиолетовые, лиловые, розовые, белые, такие милые, такие свежие, такие душистые полевые цветы, которые срываешь на прогулке и собираешь в большие букеты.

Ей доставляло удовольствие говорить с ним о давнишней своей мечте, неосуществленной и неосуществимой, а ему, одинокому старику, ничего не ждущему от жизни, доставляло удовольствие ее слушать. Теперь он садился поближе к стойке, чтобы поболтать с мадмуазель Зоэ, потолковать с ней о деревне. И вот понемногу в нем затеплилось смутное желание самому убедиться, правда ли так уж хорошо, как она говорила, за стенами большого города.

— Как вы думаете, где в окрестностях Парижа можно хорошо позавтракать? — спросил он ее однажды утром.

Она ответила:

— Поезжайте на «Террасу» в Сен-Жермен, там так красиво!

Когда-то, будучи женихом, он туда ездил. И он решил опять побывать там.

Он выбрал воскресенье, без всякой особой причины, просто потому, что обычно все ездят за город по воскресеньям, если даже ничем не заняты всю неделю.

Итак, он отправился в воскресенье утром в Сен-Жермен.

Это было в начале июля, день стоял солнечный и жаркий. В вагоне, сидя у окна, он смотрел, как бегут мимо деревья и смешные домишки парижских окраин. Ему было грустно, он досадовал на себя, что поддался соблазну, нарушил свои привычки. Ему наскучил меняющийся, но однообразный пейзаж. Хотелось пить; охотно вышел бы он на любой станции, зашел в кафе, видневшееся позади вокзала, выпил бы кружки два пива и с первым же поездом вернулся в Париж. И дорога казалась ему долгой, очень долгой. Он готов был сидеть целый день, только бы перед глазами были все те же незыблемые предметы, но сидеть, не шевелясь, и в то же время перемещаться, смотреть, как все вокруг движется, а он один неподвижен, казалось ему утомительным, раздражало его.

Правда, его занимала Сена, каждый раз как он пересекал ее. Под мостом Шату он увидел гоночные лодки и гребцов с засученными рукавами, быстро гнавших лодки сильными взмахами весел, и он подумал: «Вот кому, верно, не скучно».

Длинная лента реки, развернувшаяся по обе стороны Пекского моста, пробудила где-то в глубине его сердца желание погулять по берегу, но поезд вошел в туннель перед Сен-Жерменским вокзалом и вскоре остановился у платформы.

Паран вышел и усталой, тяжелой походкой, заложив руки за спину, направился к «Террасе». Там он остановился у железной балюстрады, чтобы полюбоваться пейзажем. Перед ним протянулась широкая, словно море, зеленая равнина, усеянная деревьями, многолюдными, как города. Белые дороги перерезали обширное пространство, кое-где виднелись рощи, блестели серебром пруды Везине, и едва вырисовывались в легкой, синеватой дымке далекие холмы Саннуа и Аржантей. Жгучее солнце заливало ярким светом весь

Затем идеальный простор, еще затянутый утренним туманом, испарениями нагретой земли, подымавшимися чуть заметным маревом, и влажным дыханием Сены, которая нескончаемой змеей извивается по долине, опоясывает деревни и огибают холмы.

Теплый ветерок, пропитанный запахом зелени и древесных соков, ласкал лицо, проникал в легкие и, казалось, молодил сердце, веселил дух, будоражил кровь.

Паран вдыхал его полной грудью, восхищенный открывавшимися перед ним далями; он пробормотал: «А здесь неплохо».

Затем он сделал несколько шагов и опять остановился, чтобы посмотреть еще. Ему казалось, будто перед ним открывается нечто, незнакомое дотоле, не то, что видели его глаза, но то, что предвосхищала душа: нежданные события, неизведанное счастье, неиспытанные радости, такие горизонты жизни, о которых он не подозревал и которые вдруг явились ему посреди этого безграничного сельского простора.

Беспросветная грусть его существования предстала перед ним, как бы освещенная ярким светом, заливавшим землю. Он увидел эти два десятилетия, проведенные в кафе, серые, однообразные, тоскливые. А ведь он мог путешествовать, как другие, — поехать далеко-далеко, в чужие страны, в неведомые земли, за море, мог заинтересоваться тем, что увлекает других людей, искусством, наукой, мог любить жизнь во всем ее многообразии, таинственную жизнь, чарующую и мучительную, вечно изменчивую, непонятную и захватывающую.

Теперь уже было поздно. Так за кружкой пива и дотянет он до смерти, без семьи, без друзей, без надежды, без интереса к чему бы то ни было. Его охватила безысходная тоска и желание убежать, спрятаться, вернуться в Париж, к себе в пивную, к прежней своей спячке. Все мысли, все мечты, все желания, лениво дремлющие на дне вялых сердец, проснулись в нем: их растревожил этот солнечный свет, льющийся над равниной.

Он почувствовал, что сойдет с ума, если долго простоит здесь один, и поспешил к павильону Генриха IV, чтобы позавтракать, забыться за вином, за спиртными напитками, чтобы перекинуться с кем-нибудь хоть словом.

Он сел за столик под деревьями, откуда открывался вид на всю местность, выбрал меню и попросил подать поскорее.

Подходили другие посетители, садились за соседние столики. Он чувствовал себя лучше: он был не один.

В беседке завтракали трое. Он несколько раз смотрел на них невидящим взглядом, как смотрят на посторонних.

Вдруг он весь вздрогнул от звука женского голоса.

Этот голос сказал:

— Жорж, разрежь цыпленка.

И другой голос ответил:

— Сейчас, мама.

Паран поднял глаза; и тут он понял, догадался, кто были эти люди. Он бы, конечно, не узнал их. Жена уже поседела, сильно располнела, стала строгой и почтенной дамой, она ела, вытягивая шею, потому что боялась закапать платье, хотя и прикрыла бюст салфеткой. Жорж стал настоящим мужчиной. У него пробивалась борода, редкая, почти бесцветная борода, тот пушок, что вьется на щеках юношей. Он был в цилиндре, в белом пикейном жилете, с моноклем, — верно, для шку. Паран смотрел на него и поражался. Это Жорж, его сын? Нет, он не знал этого молодого человека; между ними не могло быть ничего общего.

Лимузен сидел спиной к нему и ел, слегка сгорбившись.

Итак, эти трое людей казались счастливыми и довольными; они ездили за город, завтракали в известных ресторанах. Спокойно и мирно прожили они жизнь, прожили по-семейному, в удобной квартире, теплой и уютной, уютной от всех тех мелочей, что скрашивают жизнь, от нежных знаков внимания, от ласковых слов, столь частых на устах людей, которые любят друг друга. Прожили они так благодаря ему, Парану, на его деньги после того, как обманули, обокрали, погубили его! Они обрекли его, ни в чем не виноватого, простодушного, кроткого, на тоску одиночества, на гнусное прозябание между улицей и стойкой кафе, на все душевные муки и физические недуги! Они сделали из него никому не нужное существо, затерянное, заблудившееся на свете, жалкого старика, которому нечему радоваться, не на что надеяться, нечего ждать — ниоткуда и ни от кого. Для него Земля была пустыней, потому что он ничего не любил на Земле. Он мог изъездить все страны, исходить все улицы, войти в любой дом в Париже, открыть все двери, но ни за какой дверью не нашел бы он желанного дорогого лица, лица женщины или ребенка, которое улыбнулось бы ему навстречу. Особенно мучила его эта мысль, мысль о двери, открыв которую увидишь и поцелуешь любимое существо.

И все по вине этих трех подлых людей! По вине недостойной женщины, неверного друга и белокурого юноши, уже усвоившего надменные замашки.

Теперь он сердился не только на них обоих, но и на сына. Ведь это же сын Лимузена. В противном случае, разве стал бы Лимузен воспитывать его, любить? Ведь Лимузен очень скоро бросил бы и мать и ребенка, если бы не был уверен, твердо уверен, что ребенок от него. Кто станет воспитывать чужого ребенка?

Итак, вот они, тут, рядом — эти три злодея, что причинили ему столько страданий.

Паран смотрел на них, закипая гневом, возмущаясь при воспоминании о всех своих муках, тоске, отчаянии. Особенно раздражал его их

спокойный, удовлетворенный вид. Ему хотелось их побить, бросить в них бутылкой из-под сельтерской, раскрыв щеку Лимузену, который ежеминутно наклонялся к тарелке и тут же выпрямлялся.

Что же, они и дальше будут так жить, без забот и тревог? Нет, нет. Довольно! Он отомстит. И отомстит сейчас же, раз они тут, у него под рукой. Но как? Он придумывал, изобретал, всякие ужасы вроде тех, что описываются в газетных фельетонах, но не находил ничего мало-мальски осуществимого. И он пил рюмку за рюмкой, чтобы возбудить себя, набраться отваги, чтобы не упустить такого случая, который, конечно, никогда больше не повторится.

Вдруг ему пришла в голову мысль, страшная мысль: он даже перестал пить, чтобы ее обдумать. Улыбка морщила ему губы; он шептал: «Они у меня в руках, у меня в руках. Посмотрим, посмотрим».

Гарсон спросил его:

— Чего еще прикажете?

— Ничего. Кофе и коньяку, самого лучшего.

И он смотрел на них, пропуская рюмку за рюмкой. Здесь, в ресторане, было слишкомлюдно для того, что он задумал; значит, надо подождать, выйти следом за ними; они, конечно, пойдут гулять на «Террасу» или в лес. Когда они немного отдалятся, он их догонит и отомстит, да, он отомстит! Пора, после двадцати трех лет мучений. О, они не подозревают, что их ждет!

Они неторопливо кончили завтрак и мирно беседовали. Парану не слышно было слов, но он видел их спокойные движения. Особенно раздражало его лицо жены. У нее появилось высокомерное выражение благополучной ханжи, неприступной ханжи, облекшейся в броню принципов, в доспехи добродетели.

Они заплатили по счету и поднялись. Тут он рассмотрел Лимузена. Его можно было принять за дипломата в отставке, — такой важный вид придавали ему холеные седые бакенбарды, концы которых лежали на лацканах сюртука.

Они вышли. Жорж закурил сигару, сдвинув цилиндр на затылок. Паран поспешил за ними следом.

Сперва они обошли террасу, мирно полюбовались пейзажем, как любят сытые люди, потом направились в лес.

Паран потирал руки; он следовал за ними поодаль, прячась, чтобы не привлечь раньше времени их внимания.

Они шли медленно, упиваясь зеленью и воздухом. Анриетта опиралась на руку Лимузена, величаво выступая рядом с ним, как подобает верной и гордящейся этим супруге, Жорж сбивал тросточкой листья и время от времени легко перепрыгивал через придорожную канаву, как молодой норовистый конь, который вот-вот ускачет в кусты.

Паран потихоньку приближался, задыхаясь от волнения и усталости, так как отвык от ходьбы. Вскоре он догнал их, но его охватил страх, смутный, необъяснимый страх, и он пошел вперед, чтобы вернуться и встретиться с ними лицом к лицу.

Он шел, и сердце у него громко билось, так как они были здесь, позади него; и он мысленно повторял: «Ну, теперь пора; смелей, смелей! Пора».

Он обернулся. Они уселись на земле под большим деревом и продолжали беседовать.

Тогда он решился и быстро зашагал обратно. Остановившись перед ними посреди дороги, он выговорил прерывающимся голосом, заикаясь от волнения:

— Это я! Я! Не ждали?

Все трое смотрели на незнакомого человека, который казался им сумасшедшим. Он продолжал:

— Можно подумать, что вы меня не узнали. Так посмотрите хорошенько. Я Паран, Анри Паран. Что, не ждали? Думали, все кончено, кончено раз и навсегда, больше вы меня никогда, никогда не увидите? Так вот же нет, вот я и пришел. Теперь мы объяснимся.

Анриетта в ужасе закрыла лицо руками и пролепетала: «Господи боже мой!»

Видя, что посторонний человек угрожает матери, Жорж встал, собираясь схватить его за шиворот.

Лимузен, совсем пришибленный, растерянно глядел на него, как на выходца с того света, а Паран, передохнув минутку, продолжал:

— Ну-с, теперь мы объяснимся. Пора! А-а! Вы меня обманули, обрекли на каторжную жизнь и думали, я до вас не доберусь!

Но тут молодой человек взял его за плечи и оттолкнул:

— Вы что, с ума сошли? Что вам нужно? Ступайте своей дорогой, не то я вас избью!

Паран ответил:

— Что мне нужно? Мне нужно, чтоб ты знал, что это за люди.

Жорж, выведенный из терпения, тряс его за плечи, готов был ударить. Но тот не унимался:

— Отпусти. Я твой отец... Посмотри, узнают ли они меня теперь, эти подлые люди?

Растерявшись, молодой человек разжал руки и оглянулся на мать.

Очутившись на свободе, Паран подошел к ней:

— Ну-ка, скажите ему, кто я! Скажите ему, что меня зовут Анри Паран и что я его отец, раз его зовут Жорж Паран, раз вы моя жена, раз вы все втроем живете на мой счет, на пенсию в десять тысяч франков, которую я выплачиваю вам с того момента, как выгнал из своего дома. Скажите ему также, за что я вас выгнал из дому. За то, что застал вас с этим мерзавцем, с этим подлецом, с вашим любовником! Скажите ему, что я был порядочным человеком, за которого вы вышли замуж ради денег и которому изменяли с первого же дня. Скажите ему, кто вы и кто я...

От ярости он заикался, с трудом переводил дух.

Женщина крикнула раздирающим душу голосом:

— Поль, Поль запрети ему говорить такие вещи при моем сыне!

Лимузен тоже встал. Он пробормотал очень тихо:

— Замолчите! Замолчите! Поймите же, что вы делаете!

Паран запальчиво повторил:

— Я отлично знаю, что делаю. И это еще не все. Есть еще одна вещь, которую мне нужно знать; она мучает меня вот уже двадцать лет.

Потом обернулся к потрясенному Жоржу, который стоял, прислонясь к дереву:

— Теперь слушай ты. Уходя от меня, она решила, что мало изменить мне — ей захотелось довести меня до отчаяния. В тебе была вся моя радость; так вот, она унесла тебя, поклявшись мне, что я не твой отец, что твой отец — он! Солгала она или сказала правду? Я не знаю. Двадцать лет я задаю себе этот вопрос.

Он подошел вплотную к ней, трагически-грозный, и отдернул руку, которой она закрыла лицо.

— Так вот, теперь я требую, чтобы вы сказали мне, кто из нас двоих отец этого юноши: он или я, муж или любовник? Ну, скорей, говорите!

Лимузен бросился на него. Паран его оттолкнул и злобно захохотал:

— Сейчас ты осмелел, не так трусишь, как в тот день, когда удрал на лестницу, потому что я хотел тебя убить. Ну, если она не отвечает, ответь ты. Ты должен знать не хуже нее. Скажи, ты его отец? Ну, говори же, говори!

Он снова повернулся к жене:

— Если вы не хотите сказать мне, скажите хоть сыну. Он уже взрослый человек. Он вправе знать, кто его отец. Я не знаю этого и никогда не знал, никогда, никогда! И тебе я не могу сказать это, мой мальчик.

Он терял самообладание, в его голосе появились визгливые нотки. Руки дергались, как у припадочного.

— Ну... ну... Отвечайте же... Она не знает... Держу пари, что не знает... Нет... не знает... черт возьми!.. Она спала с нами обоими... ха-ха-ха, никто не знает... никто... Разве это можно знать?.. Ты, мальчик, тоже этого не узнаешь, как и я... никогда... Ну, спроси ее... спроси... увидишь, что не знает. И я не знаю... и он... и ты... Никто не знает... Можешь выбирать... да... можешь выбирать... его или меня... Выбери. Прощайте... Я кончил... Если она решится тебе сказать, приходи сообщить мне в гостиницу «Континенталь». Придешь?.. Мне бы хотелось знать. Прощайте... Счастливо оставаться...

И он ушел, жестикулируя, разговаривая сам с собой под высокими деревьями; свежий прозрачный воздух вокруг был насыщен благоуханием древесных соков. Он ни разу не оглянулся. Он шел, куда глаза глядят, гонимый яростью, неистовым возбуждением, поглощенный одной навязчивой мыслью.

Неожиданно для себя он очутился у вокзала. Как раз уходил поезд. Он сел в него. Дорогой гнев его улегся, он опомнился и, вернувшись в Париж, удивлялся собственной смелости.

Он чувствовал себя разбитым, словно ему переломали все кости. Все же он зашел выпить кружку в своей пивной.

Увидя его, мадмуазель Зоэ спросила в удивлении:

— Уже вернулись? Верно, устали?

Он ответил:

— Да, устал, очень устал!.. Понимаете... с непривычки... Хватит, больше уже не поеду за город. Лучше бы мне оставаться здесь. Больше никуда не двинусь.

И ей не удалось вызвать его на разговор о прогулке, как она ни старалась.

Первый раз в жизни он в этот вечер напился так, что его пришлось отвести домой.

Примечания

Была ли опубликована эта новелла в прессе до ее появления в сборнике, французскими библиографами все еще не установлено (имеется лишь указание на то, что 3 января 1886 года она была напечатана в журнале «Народная жизнь», но там новеллы Мопассана обычно перепечатывались после их первоначального появления в газете). В ряде своих основных положений повесть представляет собой расширенную переработку новеллы «Малыш» (см. сборник «Сказки дня и ночи»).